Битва железных канцлеров

Автор:
Валентин Пикуль

Битва железных канцлеров

Валентин Саввич Пикуль

В романе «Битва железных канцлеров» отражена картина сложных дипломатических отношений России в период острейших европейских политических кризисов 50 – 70-х годов XIX века. Роман определяется писателем как «сугубо» политический: «Без прикрас. Без вымысла. Без лирики. Роман из истории отечественной дипломатии». Русскому дипломату Горчакову в качестве достойного антипода противостоит немецкий рейхсканцлер Отто Бисмарк.

Валентин Пикуль

Битва железных канцлеров

© Пикуль В.С., наследники, 2007

© ООО «Издательство «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Дипломат должен иметь спокойный характер, чтобы добродушно переносить общество дураков, не предаваться пьянству, азартным играм, увлечению женщинами, вспышкам раздражительности… Хороший повар часто способствует заключению мира!

Франсуа де Кальер

Последний лицеист

Электричество уже освещало бульвары Парижа и кратеры доков Кронштадта; люди привыкали к разговорам по телефону; по рельсам Гросс-Лихтерфальде прополз первый в мире трамвай; Алеша Пешков служил поваренком на пароходе, а Федя Шаляпин учился на сапожника; автомобиль, похожий на колымагу, готовился отфыркнуть в атмосферу пары бензина, служившего ранее аптечным средством для выведения пятен на одежде, когда здесь, в душистой Ницце, доживал дряхлый старик, которому не нужны ни телефоны, ни трамваи, ни автомобили, – он был весь в прошлом, и 19 октября, в день лицейской годовщины, ему грезилось далекое, невозвратное:

Невидимо склоняясь и хладея,

Мы близимся к закату своему,

Кому ж из нас под старость День Лицея

Торжествовать придется одному?

Их было 29 юношей, выбежавших на заре века в большой и чарующий мир, – старик затепливал перед собой 29 свечей, а потом в глубоком раздумье гасил их робкое пламя пальцами, даже не ощущая боли ожогов. Он торжествовал вдали от родины, в пустынном одиночестве: перед ним, дымясь и оплывая воском, тихо догорала последняя свеча – свеча его жизни…

Светлейший князь Александр Михайлович Горчаков!

Он был последним лицеистом пушкинской плеяды.

Он стал последним канцлером великой империи…

Ницца жила на свой лад, весело и сумбурно, и никому не было дела до старика, снимавшего комнаты в бельэтаже дома на бульваре Carabacel. Кто бы догадался, что еще недавно он повелевал политикой могучей державы, к его словам чутко прислушивались кабинеты Берлина и Вены, Парижа и Лондона. А теперь старческие прихоти обслуживали камердинер из итальянцев да сиделка из немок. Поочередно они приносили ему дешевые обеды из траттории Лалля; старец мудро терпел несвежее масло, равнодушно мирился со скудостью итальянского супа. По вечерам его выводили на шумные бульвары, и Горчаков (воплощение старомодной элегантности!) снимал цилиндр перед дамами, улыбаясь им впалым, морщинистым ртом. Он произносил юным красавицам любезности в духе времен де Местра и Талейрана, которые сейчас, на закате XIX века, звучали забавным архаизмом. Как это и бывает со стариками, Горчаков забывал недавнее, но зато великолепно помнил детали минувшего. Заезжие в Ниццу русские считали своим долгом нанести визит канцлеру; они заставали его сидящим на диване в длиннополом халате, с ермолкой на голове; в руках у него, как правило, был очередной выпуск журнала «Русская старина» или «Русский архив».

– Подумать только, – говорил он, – люди, которых я знал еще детьми, давно стали историей, и я читаю о них… истории. Я зажился на этом свете. Моя смерть уже не будет событием мира, а лишь новостью для петербургских салонов.

Его часто спрашивали – правда ли, что он занят работой над мемуарами? В таких случаях Горчаков сердился:

– Вздор! Всю жизнь я не мог терпеть процесса бумагомарания. Я лишь наговаривал тексты дипломатических бумаг, а секретари записывали… ноты, циркуляры, преамбулы, протесты.

– Говорят, вы были другом декабристов?

– Нелюбовь ко мне Николая Первого тем и объясняется, что, зная о заговоре, я никого не выдал… День восстания еще свеж в памяти. Я приехал в Зимний дворец каретой цугом и с форейтором, как сейчас уже никто не ездит.

Единственный я был в очках, что при дворе строго преследовалось, но для ношения очков я имел высочайшее монаршее разрешение. Помню, когда начали стрелять, мимо меня проследовала императрица Александра и от страха нервически дергала головой. А граф Аракчеев сидел в углу с очень злым лицом, на груди его не было ни одного ордена, только портрет Александра Первого, да и тот, если не изменяет память, без бриллиантов…

– Правда ли, князь, пишут историки, будто вас много лет третировали по службе?

Этот вопрос для Горчакова был неприятен:

– Да. И я носил в кармане порцию хорошего яда, дабы отравиться сразу, если нарвусь на оскорбление чести.

С большой осторожностью его спрашивали о Берлинском конгрессе, завершившем войну за освобождение Болгарии.

– Ах, не говорите о нем! – отвечал Горчаков. – Именно там я понял, что изъездился и ни к черту не гожусь. У меня была в одном экземпляре секретная карта, на которой имелось три черты. Красная – границы желаемого Россией, синяя – максимум наших уступок, желтая – предел отступления. И вдруг я вижу, что в мою карту тычется носом проклятый русофоб Дизраэли – Биконсфильд! Я шепчу Шувалову: «Что это? Измена?» А граф глазами показывает на карту, лежащую передо мною. Там тоже три черты: красная, синяя, желтая. Но карта английских претензий. Оказывается, мы с Дизраэли по ошибке обменялись тайными планами. Он глядит в мою карту, а я смотрю в английскую, и оба недоумеваем. Тогда-то я и сказал государю: «Finita la commedia… увольте на покой!»

Недавно народовольцы казнили Александра II, и Горчаков показывал гостям карманные часы фирмы Брегета; на крышках часов виднелись профили Наполеона I и Александра I, а под стеклом скрывалась прядь рыжеватых женских волос.

– Мне их прислали из кабинета покойного государя. Это личные часы Наполеона, который в Эрфурте подарил их нашему царю. Они идут хорошо, я не жалуюсь. Но в письме из Петербурга не указали, чей это локон. Теперь я часто думаю –

может, Жозефины Богарнэ? Или Марьи Нарышкиной, которую обожал Александр, пока она не изменила ему с поручиком Брозиным? Или волосы графини Валевской? Это уже призраки…

Наконец Горчаков ослабел; его посадили в поезд и отвезли в Баден-Баден; от курзала неслась музыка Оффенбаха, а старик в забытьи твердил стихи, которые посвятил ему Пушкин:

И ты харит любовник своевольный,

Приятный лжец, язвительный болтун,

По-прежнему философ и шалун,

И ты на миг оставь своих вельмож —

И милый круг друзей моих умножь!

Последний лицеист закрыл глаза и отошел в круг друзей, давно принадлежавших русской истории. Это случилось 27 февраля 1883 года, – XX век уже стучался в крышку гроба. Горчакова опустили в землю, и он тоже стал нашей историей.

* * *

Со времени его смерти минуло 15 лет; по Неве уплывали к Островам белые речные трамваи, из-под жемчужных раковин садов-буфф выплескивало щемящие душу вальсы-прощания; был теплый и хороший день, когда в здании министерства иностранных дел у Певческого моста проходила обычная церемония приема послов. Министр Муравьев молча вручил каждому из них бумагу, и дипломаты, никак не ожидавшие сюрприза, с удивлением пробегали ее глазами… Это был знаменитый циркуляр о разоружении, призыв России к созыву мирной конференции государств, обладающих армиями и флотами.

Принц Лихтенштейн, посол Австро-Венгрии, сказал:

– Ваша декларация напомнила мне роман «Всеобщий мир» голландского фантаста Людвига Куперуса… Подобные идеи мира у него высказывает главный герой Отомар, владыка вымышленного королевства Липарии. Не шутка ли это в

русском духе?

Муравьев – без тени улыбки – ответил:

– Наша политика не склонна черпать идеи из бульварной беллетристики. Мы не фантазеры! Наш документ исходит из мирного проекта, выработанного покойным канцлером Горчаковым еще в тысяча восемьсот семьдесят четвертом году. Сейчас, когда Бисмарка не стало, уже подведен малоутешительный баланс политики милитаризма. Бисмарк обошелся народам Европы в сорок пять миллиардов франков… Не слишком ли мрачные лавры осеняют его надгробие?

Вмешался германский посол Гуго Радолин:

– Ваши проекты – утопия! Разоружение практически невозможно.

– Практически за разоружение еще никто не брался.

– Но полистайте страницы Ветхого и Нового заветов: божественный промысел заверяет нас, что война будет существовать до конца света. Мало того, войны способствуют расцвету науки и техники. Даже гуманная хирургия лучше всего развивается в излечении фронтовых ранений. Наконец, поэзия, музыка и живопись – что бы они воспевали, если б не было войн?

Муравьев с недовольством сказал:

– Оставим казуистику! Мир – это все-таки не грубая опечатка в летописи человеческого сознания…

Скоро в «Лесном Домике» под Гаагой открылась мирная конференция 26 вооруженных государств; зал украшала аллегорическая картина дружбы народов с надписью по-латыни: величайшая победа та, которой обретается мир. Простые люди планеты с восторгом отнеслись к этому новому учреждению («голубь с веткой маслины в клюве сделался любимым символом и являлся везде – на почтовых конвертах и в виде брошек на груди признанных красавиц…»). Из Англии прибыла в Петербург делегация защитников мира, которая сложила к ногам Муравьева 30 томов подписей людей, требующих от правительств мирного разрешения спорных международных вопросов. Рабочие одной

немецкой типографии в Берлине объявили забастовку, отказываясь печатать книгу под названием «Будущее мировой войны». Метранпаж сказал:

– Мы встанем к станкам, если автор изменит название. Что значит будущее войны? Война не должна иметь будущего…

Но германские газеты цитировали и слова Мольтке: «Вечный мир – это сон, и даже не прекрасный, потому что война есть звено божественного мироздания. Без войны свет погряз бы в грубейшем материализме…» Кайзер Вильгельм II говорил:

– Разоружение? Дуракам кажется все так просто. Ради чего же немцы сидели с подведенными животами, довольствуясь сосиской и кружкой пива? Неужели для того, чтобы я вывел броненосцы в море и открыл кингстоны на радость защитникам мира? Да не поднимется моя рука переплавить пушки на ночные горшки для сопливых рахитичных ублюдков кварталов Кёпеника…

Наконец сторонники разоружения решили устроить «крестовый поход в пользу мира» – нечто стихийное и небывалое. Народные демонстрации должны были выйти из столиц Европы и, слившись воедино в Берлине, проследовать далее – в Петербург, где и завершить дело мира торжественным апофеозом победы над милитаризмом. «Но (как писали тогда в газетах) германское правительство испугалось посещения Берлина международными крестоносцами. Боялись народных волнений и взрыва шовинизма немцев при встрече с французами, если бы они потребовали разоружения Германии… Один лишь старик Август Бебель с обычным чистосердечием говорил на публичных митингах рабочих: „Россия теперь наш союзник и товарищ!..“

* * *

Всегда помня о народе как о решающей силе государства, не будем забывать и о роли личности в истории. За давностию лет одни герои прошлого были канонизированы, их имена вошли в «святцы» хрестоматий, в «поминальники» настольных календарей, – другие были беспощадно забыты. Еще сто лет назад историк Петр Бартенев с горечью констатировал: «Мы нестерпимо равнодушны к отечественной истории, да и ко всему на свете. Сколько уже погибло страниц, не озаренных никаким светом». Он прав. Человечество так уж устроено, что умеет многое забывать. Задача истории как раз обратная – вспоминать!

Светлейший князь Горчаков вниманием потомства не обижен. Историки дипломатии вникают в его дальновидные замыслы – он был крупный политик века; историки литературы старательно просвечивают его старомодную фигуру, на которую ложились солнечные блики русской поэзии, – он начал жизнь дружбою с Пушкиным и закончил ее дружбою с Тютчевым.

В основе всех политических концепций Горчакова лежало насущное и необходимое во все времена – борьба за мир! Канцлер был, пожалуй, самым страстным и убежденным борцом за сохранение мира в Европе и этим резко выделялся среди своих зарубежных коллег. Однако Горчаков унес в могилу не только сияние славы, но и горечь многих своих поражений… Не станем чересчур строго винить его! Иногда даже ошибки государственных деятелей имеют для народа такое же громадное значение, как и те истины, которые стали драгоценным наследием отцов наших…

Борьба за мир началась не сегодня, и не завтра она закончится; эта борьба тоже имеет свою великую историю. Еще в глубокой древности, ступая босыми ногами по золотым пляжам Средиземноморья, философы в развеваемых ветром хитонах рассуждали на кованой латыни о том, как уничтожить извечное истребление человека человеком. Но если политики прошлого века ратовали за мирное существование, то теперь, в наши напряженные дни, при наличии двух общественных систем, борьба за мир выражается в мирном сосуществовании.

Горчаков вынашивал мысль о создании нерушимой международной институции, которая, обладая обширными юрисдикциями, стала бы залогом сохранения всеобщего мира и сокращения всех видов вооружения. Этот горчаковский проект был положен в основу созыва знаменитых Гаагских мирных конференций, которые и явились как бы прологом Организации Объединенных Наций…

Правда, Гаагские конференции мира не спасли народы от войн. Но они сохранили свою юридическую силу и поныне.

Принципы мирного сосуществования стали нормами международного права. Сейчас наши историки пишут: «Соблюдение этих принципов и норм является обязательным с точки зрения действующего международного права. Несоблюдение их – военное преступление, подлежащее наказанию!»

Советский Союз дважды торжественно подтвердил признание им Гаагских конвенций и деклараций: первый раз в 1942 году, в трудной обстановке кануна Сталинградской битвы, и вторично в 1955 году, в разгар «холодной войны»…

Невольно вспоминается высказывание Гете: «Ничто не исчезает из старого – все развивается, и новая жизнь наплывает на старые обломки».

А на окраине Петербурга, на кладбище Троицко-Сергиевой лавры, тихая тропинка приводит нас к могиле российского канцлера Горчакова…

* * *

Я предлагаю читателю сугубо политический роман.

Без прикрас. Без вымысла. Без лирики.

Роман из истории отечественной дипломатии.

Рассказывать о прошлом заманчиво, но нелегко…

При этом я вспоминаю, как английский историк Юм, сидя возле окна, писал очередной том истории человечества, когда с улицы вдруг послышался отчаянный гвалт. Юм послал горничную – узнать, что там случилось, и та сказала, что ничего особенного, просто поссорились прохожие. Но пришел лакей, сообщивший, что на улице произошло злодейское убийство. Затем прибежал почтальон и сказал историку, что сейчас была на улице большая потеха – подрались две голодные собаки, заодно покусав мужчину и двух женщин.

Юм в раздражении швырнул перо на стол.

– Это невыносимо! – воскликнул он. – Как же я могу писать историю прошлого человечества, если не в силах выяснить даже того, что творится у меня под самым носом – напротив моего дома!

Однако он все-таки продолжил работу.

…Эта книга является логическим продолжением моего романа «Пером и шпагой».

Часть первая

Европейский концерт

Запад, Юг и Норд в крушеньи,

Троны, царства в разрушеньи, —

На Восток укройся дальний

Воздух пить патриархальный.

Ф. И. Тютчев (из Гёте)

Германия, где ты, Германия?

Европа еще не ведала погранохраны, путешественник въезжал в пределы стран через шлагбаумы, которые любезно поднимались перед любым мазуриком. А таможенный досмотр казался свирепым, если не разрешали провезти сигар больше, нежели их умещалось в портсигаре, если из пяти провозимых бутылок вина одну конфисковывали (неизвестно – в чью пользу). В германских княжествах строго следили за нравственностью, и суровые чины при старомодных шпагах с хрустом выдирали из парижских изданий легкомысленные картинки: вид француженки, чуточку приподнявшей платье, чтобы поправить чулок, приводил таможню в содрогание, как непотребная порнография. Железные дороги обычно имели одну колею, и машинисты паровозов, встретившихся в пути, спорили, как на базаре, кому из них суждено пятиться задом, до ближайшей станции, чтобы потом мирно разъехаться на стрелках. В основном европейцы передвигались еще на почтовых дилижансах,

движение которых было отлично налажено по гладким шоссейным дорогам; внутри карет путники невинно флиртовали или кротко подремывали, на империалах крыш бултыхались их кофры и круглые футляры с дамскими туалетами. Время от времени, сочувствуя природной слабости пассажиров, кучера делали неизбежную остановку, и мужчины с отвлеченным выражением на лицах укрывались в кустах по одну сторону дороги, а жеманные путешественницы, делая вид, будто рады случаю собрать букет цветов, исчезали в зелени по другую сторону…

Немцев было много, а Германии у них не было!

Просторы срединной Европы запутывала феодальная чересполосица немецких княжеств, средь которых Бавария, Саксония, Ганновер, Вюртемберг, Баден, Гессен и Мекленбург казались даже великанами; другие же княжества бывали столь мизерны, что владетельный герцог, выходя утречком на крыльцо своего замка, с недоверием принюхивался, спрашивая гофмаршала:

– Чем это так запахло в моих владениях Фуй-фуй.

– Не иначе, – следовал ответ, – в соседнем с нами государстве скряга-король опять заварил пережженный кофе.

Венский конгресс 1815 года узаконил национальную раздробленность немцев, что устраивало Австрию, которая своим имперским авторитетом величественно подавляла всю «германскую мелюзгу». Меттерних сознательно поддерживал мистический романтизм в искусстве и философии Германии, дабы, паря в мечтах, немцы не замечали земли, на которой им жить и умирать. Правда, была еще сильная Пруссия под королевским скипетром Гогенцоллернов, но Берлину с Веною не пришло время тягаться. А чтобы держать всех немцев под своим контролем, Меттерних создал Союзный сейм, заседавший в богатом Франкфурте-на-Майне. Германский бундестаг власти никакой не имел – пустая мельница, годами крутившая жернова заседаний одной нескончаемой конференции; размазнею бестолковых резолюций здесь скрепляли мнимое единство немцев. Тогда в Европе остряки говорили: «Германия – это глупый и сонный Михель в ночном колпаке и халате с тридцатью восемью заплатками», – ибо 38 немецких государств были представлены в бундестаге, где (неизменно!) главенствовал австрийский посол из сиятельной Вены…

В один из дней венскому послу Антону Прокешу доложили о прибытии нового берлинского посла:

– Отто фон Бисмарк из замка Шёнхаузен на Эльбе!

– Что ж… пусть войдет, – сказал Прокеш.

Было очень жарко, и он сидел в комнатах, средь антикварной обстановки, вывезенной им с Востока, одетый весьма легкомысленно. Австриец хотел сразу же поставить пруссака на место и, закрывшись газетным листом, делал вид, что поглощен чтением. Когда же Прокеш насытил свое тщеславие и решил, что Бисмарк уже достаточно огорчен его невниманием, он лениво опустил газету. Тогда открылось дивное зрелище: посол Пруссии успел раздеться и торопливо стягивал с себя кальсоны.

– Вы правы, – сказал он, – что не носите фрака. Жарища такая, что я решил последовать вашему примеру. Только я намного откровеннее вас и совсем не стыжусь своей наготы…

Прокешу ничего не оставалось, как извиниться и принять должный вид. Бисмарк тоже застегнул сюртук на все пуговицы. Прокеш заметил на отвороте его лацкана скромную ленточку.

– За какие доблести вы украшены орденом?

– Если б орден! – отвечал Бисмарк. – У меня в Померании был конюх, ужасный пьяница, он провалился под лед на Липпенском озере, я его вытащил, и вот меня наградили жетоном за спасение христианской души, явно заблудшей…

Между ним и австрийским председателем бундестага сразу возникла вражда. Бисмарк вызнал, что средь редкостной мебели Прокеша есть бюро из мореного дуба, в котором венский дипломат хранит документы, направленные на подрыв прусского авторитета в германском мире. Попутно Бисмарк выяснил, что Прокеш ради барышей иногда распродает мебель антикварам. «Ага! – сказал он себе. – Любимое зрелище богов – видеть человека, вступившего в борьбу с непреодолимым препятствием. Если так, то пусть же весь Олимп не сводит с меня глаз…»

Бисмарк поспешил в Берлин, где повидался с Гинкельдеем, начальником тайной прусской полиции. Он сказал ему:

– Барон, мне еще никогда не приходилось таскать вещей из чужого дома… А вам?

– Я тоже не жил воровством, – признался Гинкельдей. – Думаю, что при наличии сноровки это дело нетрудное.

– Но вещь, которую надо стащить во благо прусской истории, не оторвать от пола. Она страшно тяжелая!

– Ну, что ж, – не смутился полицай-президент, – у меня есть помощник, некто Вилли Штибер, бывший пастор, а ныне адвокат по воровским делам. Очень ловкий парень…

Штибер был тайно представлен Бисмарку.

– Все будет сделано, – обещал он послу.

Ночью Штибер навестил погребок, где коротали время воры и сыщики; он подсел к одному типу, дремавшему над кружкой «мюншенера»; это был берлинский жулик Борман.

– Эй, проснись! – растолкал его Штибер. – Ты уже не Борман, а Самуил Гельбшнабель, у тебя завелась антикварная торговля на улице Центль.

– Это где такая? – спросил Борман, зевая.

– В вольном городе Франкфурте-на-Майне, куда и поезжай утренним поездом. Вот тебе паспорт жителя Чикаго…

– Это где такой? – спросил Борман, допивая пиво.

– Очень далеко. Там тебя никто не поймает…

Прокеш вскоре принял у себя американского антиквара Гельбшнабеля, желавшего украсить Новый Свет перламутровым столиком из турецкого сераля. Прокеш заломил немалую цену, но янки невозмутимо отсчитал деньги и сказал, что за столиком пришлет двух фурманов. Посол собирался выехать в Вену, а потому уверил Гельбшнабеля, что соответствующие распоряжения даст своему дворецкому… Прокеша не было, когда на его виллу вломились, громыхая башмаками, два подвыпивших извозчика-фурмана и без лишних слов дружно ухватились за бюро. Крякнули и оторвали его от паркета. Понесли… Дворецкий стал орать, что герр Самуил Гельбшнабель платил деньги не за бюро.

– А нам плевать! – отвечали фурманы, с треском пропихивая бюро в двери; дворецкий решил не спорить с пьяными, благо надеялся, что антикварий вскоре вернет их с ненужным бюро и заставит взять купленный столик…

Но бюро уже вскрывал топором начинающий дипломат Бисмарк: из секретных ящиков сыпался богатый урожай документов государственной важности. Упакованные в тюки, они были срочно отправлены в Берлин. Публикацией этих документов Пруссия могла выставить перед миром все вероломство Австрии, но правительство… молчало.

Бисмарк, крайне раздраженный, явился в Берлин, где президент Мантейфель объяснил ему:

– Скандалить с венским кабинетом опасно. Единственно, на что я осмелюсь, это на просьбу об отозвании Прокеша.

Бисмарк воткнул в рот дешевую сигару:

– Недавно в Париже нашумел бракоразводный процесс одного графа с женою, бывшею цирковой наездницей. Чудак обратился в суд не сразу! До этого он двадцать четыре раза заставал свое сокровище в постели с какими-то обормотами и двадцать четыре раза делал жене кроткие и благонравные внушения. Адвокаты на суде рыдали, как зайцы, до небес превознося своего кроткого подзащитного, как образец философского мученичества и небывалой галантности…

– Бисмарк, к чему вы мне это говорите?

– А к тому, что этот выживший из ума рогоносец мог бы еще немало поучиться галантности у Берлина, который прощает Вене любое коварство политики австрийского кабинета…

Прусским королем был тогда Фридрих-Вильгельм IV (по прозвищу Фриц Шампанский). Он начал жизнь с шампанского, а теперь переехал на чистый спирт. В его покоях всегда стояли два графина – один с аракой, другой с кюммелем. Выпив водки, он запивал ее ликером… Король сам и проболтался:

– Бисмарка держите в тени. Он пригодится нам в том случае, когда власть в Пруссии будет основана на штыках!

* * *

Во Франкфурт, в самый центр немецких разногласий, прибыл русский чрезвычайный посол – князь Александр Михайлович Горчаков; в бундестаге он добивался политического равновесия между Австрией и Пруссией, которые – пока на словах! – бились за преобладание в германском мире… Однажды в номерах франкфуртского H’otel de Russie его посетил посол Бисмарк.

– Как странно, – сказал он, активно приступая к беседе, – вот уже четыре столетия Бисмарки с реки Эльбы звенят мечами, а я родился в день первого апреля, когда принято всех обманывать, и посему избрал карьеру дипломата… У французов, я слышал, есть одно блюдо, которое все едят, но никто не знает, из чего оно приготовлено. Дипломатия напоминает мне эту загадочную похлебку: вкусно, но подозрительно!

Горчаков стоял в черном полуфраке, гладковыбритый, осанистый, на груди его было взбито, словно сливочная пена, пышное кружевное жабо. Он сказал:

– Что такое дипломатия, я вам, Бисмарк, объяснить не могу. Если наука, то нет такой кафедры, которая бы ею занималась. Если искусство, то в числе девяти непорочных муз ни одна из них не согласилась покровительствовать политике. А обман – это не главное, что определяет дипломатию, ибо сплошь и рядом встречаются шарлатаны, которые не утруждают человечество признанием их дипломатической неприкосновенности…

Бисмарк был на 17 лет моложе Горчакова, и он выразил желание, чтобы князь надрессировал его в познании политических премудростей. Постигая закулисные тайны европейских конъюнктур, Бисмарк одновременно изучал и своего наставника. А князь, достаточно хитрый, стал изучать и своего способного ученика. За личиною хамоватого простака, любителя выпить и как следует закусить ветчинкой Горчаков вскоре разгадал будущего союзника, а возможно, и противника… Теперь часто можно было видеть, как два дипломата, держа в руках цилиндры, обтянутые черным шелком, гуляли по Либфрауэнбургу, приятно беседуя о венских каверзах, при этом рослый Бисмарк почтительно склонялся к плечу невысокого Горчакова, выражая самое искреннее внимание, как ученик к мудрому учителю.

Однажды в разговоре с князем прусский посол обмолвился, назвав Россию страной отсталой.

– Отсталая? – гневно выпрямился Горчаков, сразу задористо помолодев. – Вы на этот счет не заблуждайтесь. «Отсталая» Россия еще четыре столетия назад сумела спаять себя в нерушимом национальном единстве, которого вы, немцы, даже сейчас, в веке девятнадцатом, обрести не в состоянии.

Вена прислала нового посла – графа Рехберга.

– Курить в бундестаге, – заявил он, – буду один я! Представьте, что здесь будет твориться, если, помимо Австрийской империи, станут дымить и все германские княжества.

Горчаков запустил пальцы в табакерку.

– Господи, – подмигнул он Бисмарку, – какое счастье, что я не родился курящим немцем. И каждый раз, когда встречаю ученика Меттерниха, я заведомо уверен, что принципы политики вколочены в него молотком, будто гвозди в стенку.

Бисмарк оглядел рабски согбенные головы:

– Германия… разве ж это Германия?

С ногою в стремени

Штутгарт – столица Вюртембергского королевства, которое не больше Петербургской губернии, но когда канцлер Нессельроде предложил Горчакову, словно в издевку, место посланника при тамошнем дворе, князь был вынужден согласиться: важно снова поставить ногу в стремя…

Штутгарт разморило в древней тишине, а семьянина Горчакова вполне устраивала беспримерная дешевизна германской провинции. Под карнизами русского посольства гнездилась уйма ласточек, в небе пиликали альпийские жаворонки; пасторальные закаты над кущами виноградников были прекрасны, по вечерам пожилые фрау выносили на улицы кресла, и, ставя перед собой по кружке доброго пива, вязали чулки внукам, бесплатно услаждаясь музыкой гарнизонного оркестра. На лето Горчаков выезжал с семьей в деревню Содэн, где посреди крестьянских дворов вскипали из-под земли минеральные источники, воды которых казались не хуже эмеских иль баденских. Служба в Штутгарте была для Горчакова необременительна, ее размеренный ход лишь изредка нарушало появление «дикого» русского барина, каким-то чудом занесенного в Висбаден, где он продулся в рулетку и теперь униженно выклянчивал у посла деньжат на дорогу, чтобы добраться до родимого Весьегонска. Да еще, бывало, у посольства останавливался невообразимый тарантас, в каком не рискнул бы ездить даже Чичиков, из окошка выглядывала растрепанная помещица, а на запятках, вызывая удивление немцев, стоял босоногий лакей в немыслимой ливрее, и барыня визгливо вопрошала посла, где тут удобнее поворачивать на Париж… Такие встречи всегда были неприятны для Горчакова, ибо он стыдился за мятлевских «мадам Курдюковых», обнажавших перед Европой тайные пороки крепостнической России.

Здесь, в Вюртемберге, князя и застала революция 1848 года, которую он, подлинное дитя своего класса, воспринял с враждебностью, но (умный человек!) предрек будущее:

– Топор уже стучится в основание социального дерева…

* * *

У него были причины считать себя неудачником.

Он окончил Царскосельский лицей первым и получил золотую медаль (которую, кстати сказать, стащили у него благородные милорды, когда он только начинал службу при посольстве в Лондоне). Казалось бы, ему, знатоку истории и политики, только и делать карьеру. Но канцлер Нессельроде умышленно тормозил по службе русского аристократа, слишком независимого в суждениях, а князь, крайне честолюбивый, болезненно страдал от того, что его обходили в чинах и наградах. Тогда русскую дипломатию оккупировали носители германских фамилий, знавшие, что есть такая Россия, а в России есть Петербург, где протекает Мойка, через которую перекинут Певческий мост, возле моста стоит огромный дом, а в этом доме сидит Карлушка Нессельроде, и его надо слушаться так же неукоснительно, как он сам слушается приказов из Вены – от Меттерниха… Горчаков по слухам знал, что в секретных списках чиновников напротив его имени стояла отметка графа Бенкендорфа: «Не без способностей, но не любит Россию!» Глупее такой аттестации трудно было что-либо придумать. Дело, скорее, в том, что Горчаков обладал редким в ту пору качеством – его хребет становился несгибаем, как палка, перед власть имущими. К сорока годам жизни он поднялся лишь до ранга советника при посольстве в Вене; здесь, прикрывая неприязнь утонченной вежливостью, он противоречил всесильному диктатору Меттерниху… Горчаков испортил свою репутацию, когда в Вену приехал Николай I; в свите его состоял и Бенкендорф, имевший дерзость наказать Горчакову: «Потрудитесь распорядиться, чтобы мне приготовили обед». Князь не растерялся. Он тряхнул колокольчик, вызывая метрдотеля. «Вот этот господин, – показал князь на шефа жандармов, – выражает желание, чтобы его накормили…» После этого казуса Горчаков до седых волос не мог избавиться от клички – либерал! К этому времени князь проанализировал внешнюю политику России от самого Венского конгресса, когда дипломаты играли модными картами, имея в королях Кутузова, Веллингтона, Блюхера и Шварценберга, – именно тогда, на обломках империи Наполеона, восторжествовал Священный союз монархов, дабы совместными усилиями реакции гасить в Европе любое проявление революционной мысли.

Поэту Тютчеву князь Горчаков говорил:

– Наша политика споткнулась давно! Закончив изгнание Наполеона из пределов отечества, Александр I не нашел в себе мужества остановить могучую поступь наших армий на Висле. Кутузов был умнее царя, и он предупреждал, что поход до Парижа и свержение Наполеона послужат во вред России, а выгоды от побед русского оружия будут иметь лишь Вена, Берлин и Лондон… Так ли уж это было нужно, – вопрошал Горчаков, – добивать раненого льва, чтобы развелась стая

волков? Еще тогда, сразу по изгнании французов, мы могли сделать Францию нашей верной союзницей, и вся политика Европы потекла бы в ином, благоприятном для нас направлении…

Подобные высказывания не украшали его служебного формуляра. Дурное отношение к Австрии расценивалось тогда как крамола, а национальный патриотизм именовали «московским бредом». Дипломат загубил карьеру, полюбив веселую вдову, бывшую сестрой княгини Радзивилл, наперсницы царя. Меттерних переслал в Петербург гнусный донос на Горчакова (содержание его до сих пор неизвестно). И как ни дорожил князь службою, он все-таки ее оставил – ради любви к женщине!

Мария Александровна, урожденная Урусова, круглолицая и пышнотелая, любившая щеголять в тюрбане одалиски, принесла князю в приданое четырех сыновей и дочку от первого ее брака с Мусиным-Пушкиным, а вскоре от Горчакова родились два сына – Михаил и Константин… С утра до вечера просторную, но скудно обставленную квартиру на Литейном оглушал гам детских голосов, не было покоя от беготни по комнатам, а Горчаков, на правах отца и отчима, раздавал шлепки и поцелуи одинаково всем, не отличая родных детей от пасынков. Дипломату в отставке теперь приходилось вступать в альянсы с няньками и прачками, денонсировать договоры с пьяными лакеями, дезавуировать дворника, воровавшего дрова. Эта унизительная для него отставка закончилась лишь в 1841 году: Нессельроде предложил ему место в Штутгарте, и Горчаков снова вдел ногу в боевое стремя…

Да, карьера складывалась неважно! Жизнь склонилась на шестой десяток, когда, сохраняя за собой пост в Вюртемберге, он получил назначение на представительство во Франкфурте-на-Майне, – здесь князь и встретился с Бисмарком…

* * *

Горчаков был однолюбом, и когда внезапно скончалась жена, ему показалось, что настал конец света. С эгоизмом человека, избалованного вниманием общества, князь требовал от штутгартского священника Иоанна Базарова, чтобы тот, через посредство вышних сил, избавил его от страданий.

– Я ведь не могу так жить! – восклицал он, навзрыд рыдая. – Женщина, которая еще вчера смеялась, играла на арфе и пела в этих комнатах, вдруг лежит в гробу, а я, несчастный, обоняю запах ее гниения… Почему так страшно устроен мир?

Склоняя Горчакова к молитвам, духовник и сам не ожидал, что князь погрузится в мистическое состояние, почти полуобморочное. Базаров позже вспоминал: «Нередко он доводил меня до изнеможения. Но я старался забывать все, видя беспомощность его нравственного состояния…»

Неожиданно к Горчакову приехал Бисмарк.

– Ваш император ввел войска в Дунайские княжества, – сообщил он. – По мне, так лучше бы этого Дуная совсем не было! Тогда австрийцы повезли бы товары через наш Гамбург, а уж мы бы в Гамбурге знали, как надо обдирать их на таможне…

Это сразу вернуло Горчакова к жизни: в нем проснулся политик, не способный оставаться безучастным к нарушению европейского равновесия. Он понял, что в основе конфликта лежит грубейший просчет Николая I, который игнорировал Францию, слепо верил в дружбу с Австрией и уповал на Пруссию. Душевный кризис был преодолен! Но в кризис вступал Бисмарк:

– Еще никому в Европе не удалось развести огня, чтобы Австрия при этом не подогрела свой тощий вассерсуп. Сейчас в Берлине боятся Петербурга, но берлинских дураков страшит и гнев австрийский. Я всю ночь не сомкнул глаз, обдумывая письмо для короля, чтобы он не совал свой палец под чужие двери…

В трудные для России времена правительство всегда вспоминало о патриотах – Горчакова срочно перевели послом в Вену. Его попутчиком в дороге оказался пожилой англичанин, обложенный брюссельскими и ганноверскими газетами.

– Наконец-то, – радостно сказал он, – Европа взялась за Россию! Я всегда с ужасом взираю на географическую карту: Россия давит, нависая над нами, как грозовая туча.

– Испания, – отвечал ему князь Горчаков, – никогда не нависала над Америкой, где она умудрилась полностью уничтожить американскую цивилизацию… Я

прихожу в ужас не от вашего знания географии, а от незнания вами истории! Мне непонятно, как это Россия может давить на Европу?

– Опять же географически.

– Но разглядывание карты не всегда приводит к верным политическим выводам. Где и когда, скажите мне, Россия нависала над Европой, как грозовая туча?

– Постоянно… это давний кошмар всей Европы.

– А вы сможете привести хоть один случай, чтобы Россия, вторгшись в Европу, сражалась за свои, а не за общие европейские интересы? Что же касается географических пространств России, то тут я вынужден вас от души поздравить: владения вашей королевы в Америке, в Индии и в Австралии превышают размеры России, но русские, вращая глобус, не ужасаются!

– Вы еще не знаете всей правды о России, – не унимался англичанин. – Русского языка вообще не существует. Его придумал в пору реформ царь Петр, а потом насильно привил его татарам и монголам, велев им всем называться русскими.

Впервые после смерти жены Горчаков улыбнулся:

– Неужели граф Бенкендорф сочинил разбойничью песню «Вниз по матушке по Волге», которую ныне распевают обрусевшие монголы, нависающие, если вам верить, над картой Европы?

– Ах, вы русский? – догадался англичанин.

– Имею честь быть им…

За окном вагона первого класса стелилась Европа – на этот раз чуждая, почти враждебная.

Советник посольства Виктор Павлович Балабин встречал нового посла на венском вокзале.

– Ну, дружок, везите меня в «Империал».

– В посольство? – поправил его Балабин.

– Нет. Я сказал точно – в «Империал»…

Вена была прекрасна, и Горчаков любил этот город. Он любил только город, но не терпел венской политики. Европа часто повторяла афоризм Горчакова: «Австрия – не государство, Австрия – только правительство». Сытые, красивые кони выкатили карету на чистые брусчатые мостовые венского Пратера.

Венская прелюдия

Революция 1848 года разбудила и те народы, что жили в центре Европы. Они словно очнулись от дурного сна: «Где мы?» – и узнали, что находятся в Австрии. «А кто мы?» – и со всех сторон отозвались люди: «Я чех, я немец, я серб, я итальянец, я мадьяр, я словак, я хорват…» Если это так, то почему же чех не живет в Чехии, а итальянец в Италии? Почему немец не имеет Германии, а мадьяр Венгрии? И что такое сама Австрия, если в мире не существует людей с национальностью австриец?[1 - Население Австрии состояло из множества народов и народностей, средь которых предпочтение отдавалось немцам (а позже и венграм). В канун гитлеровского аншлюса 1938 года в КПА была развернута широкая дискуссия по этому вопросу, в ходе которой коммунисты вынесли резолюцию, что «австрийский народ не является частью германской нации». (Здесь и далее прим. автора.)] В чем же сила того злобного волшебства, которое много веков подряд всех нас угнетает?..

Австрия – мыльный пузырь, раздутый Габсбургами до невероятных размеров. Но уже со времен Марии-Терезии не было ни одного Габсбурга, который бы не понимал фальшивости существования их империи. Меттерних потому и велик, что 30 лет не давал никому проколоть этот пузырь, делая вид, что он бронирован. Его проколола революция! Венгры поднялись на борьбу за самостоятельность, и Австрия сразу же стала разваливаться по кускам… Николай I жестоко подавил восстание венгров и этим спас империю Габсбургов от распада. Казалось бы, император Франц-Иосиф до гробовой доски не забудет услуги Романовых. Однако из Вены было сказано: «Мир еще ужаснется от нашей черной неблагодарности!» Сейчас Австрия предъявила России ультиматум:

вывести войска из Дунайских княжеств. Валахия и Молдавия оказались под угрозой австрийской оккупации. В порыве откровения царь спросил графа Алексея Орлова:

– Знаешь ли ты, кто из польских королей был самым глупым, а кто из русских монархов оказался большим болваном?

Орлов не нашелся, что ответить своему сюзерену.

– Самый глупый король – Ян Собеский, спасший Вену от турок, а болван – это я! Не подави я тогда мятеж венгерских гонведов – и Габсбургам не плясать бы на моей шее… Гляди, уже не стало места на карте, ткнув пальцем в которое можно было сказать: вот здесь Австрия сделала людям добро!

Русским послом в Вене состоял барон Мейендорф, женатый на сестре австрийского канцлера Буоля; в Зимнем дворце не сразу хватились, что Мейендорф, по сути дела, для того и торчит в Вене, чтобы подрывать интересы России в угоду семейным связям с венской аристократией, – именно тогда-то Николай I и назначил на его место князя Горчакова…

Горчаков, конечно, повидался с Мейендорфом:

– Я знавал канцлера Буоля, когда он был еще молодым человеком, умевшим угождать не только дамам. Что скажете о нем, когда он сделал успешную карьеру?

– Мой шурин имеет двести тысяч годовых.

– Конечно, весьма приятно иметь двести тысяч, но как мне удобнее поддерживать отношения с этим счастливцем?

– Князь, – отвечал Мейендорф, – вы и без моих советов догадаетесь, как следует поддерживать отношения с человеком, который имеет двести тысяч годового дохода.

Горчаков внятно прищелкнул пальцами:

– В данной комбинации, барон, меня волнуют не двести тысяч талеров, а то, что Буоль способен выставить за пределы Австрии двести тысяч штыков, а еще двести тысяч останется в пределах империи для внутренних расходов, дабы подавлять национальные революции в Венгрии и в Италии.

– Об этом я не думал, – отвечал Мейендорф.

– Потому-то у вас такое хорошее настроение…

* * *

Франц-Иосиф принял его в Шёнбруннском замке, выспренне выражая свои горячие симпатии к дому Романовых.

– Как жаль, что после стольких любезных заверений вашего величества я завтра же должен покинуть Вену! – Этими словами Горчаков шокировал Габсбурга (тогда еще молодого и не успевшего отрастить пышные бакенбарды, сделавшие его облик анекдотичным). – Увы, я вынужден покинуть Вену, если не будет остановлена ваша армия, собранная в Трансильвании для вступления в пределы Дунайских княжеств, народы которых, валахи и молдаване, уже привыкли к режиму российского покровительства.

Разрыв отношений с Россией был для Вены опасен.

– Вы не успеете доехать до посольства, как я депеширую в Трансильванию, чтобы моя армия не трогалась с бивуаков.

Но, сказав так, Франц-Иосиф, кажется, не обратил внимания на слова, произнесенные в ответ Горчаковым:

– Я не спешу располагаться в посольстве.

Горчаков намеренно поселился в «Империале», чтобы здесь выждать визита канцлера. Буоль вскоре появился в отеле, но посетил соседний с Горчаковым номер, в котором принимала мужчин модная темнокожая куртизанка с острова Сан-Доминго. Австрийский канцлер демонстративно провел у женщины весь вечер…

Балабин сказал, что Буоль не придет.

– Может быть, – согласился Горчаков. – Но зато придет такое время, когда канцлер Буоль, как последний дешевый лакей, подаст вам стул … Верьте – так будет!

Свидание состоялось на нейтральной почве – в доме саксонского дипломата барона Зеебаха, женатого на дочери российского канцлера Нессельроде. Буоль начал с угроз: союзные державы с населением в 108 миллионов и тремя миллиардами доходов ополчились против России, у которой 60 миллионов населения и едва ли наберется один миллиард годового дохода.

Блеснув очками, Горчаков кивнул: все верно.

– Но еще не родилась коалиция, способная стереть Россию с лица земли, как неудачную формулу с грифельной доски. Я не пророк, но могу предсказать: после этой войны Вена еще очень долго будет дремать вполглаза… А на столкновение с Францией я не смотрю так уж трагично! Наполеон Третий, сам того не ведая, забивает сейчас сваи моста, который перекинется через всю Европу между Парижем и Петербургом.

– Это ваша славянская фантазия, – заметил Буоль.

– Обратимся к фантазии итальянской! Франция не потерпит закабаления вами Италии, возмездие придет… не из Рима.

– Вы думаете… из Парижа? – оживился Буоль.

– Мне трудно говорить за Францию, но, помимо Наполеона Третьего, существует еще и Джузеппе Гарибальди.

– Не ожидал от вас, столь воспитанного человека, что вы станете дерзить мне при первом же свидании.

– Ах, простите! – извинился Горчаков. – Я как-то совсем забыл, что имя Гарибальди считается в Вене крамольным…

Вражда (и границы этой вражды – от Дуная до Рима) определилась. Вскоре русские войска отошли за Прут, а в долины Дуная сразу хлынули австрийцы. Союзные войска высадили десанты в Евпатории и пошли на Севастополь, хорошо защищенный с моря, но зато открытый со стороны суши. В эти трудные для России дни Горчаков держался особенно гордо, тон его речей подчас был вызывающим, а Балабину он однажды сказал:

– Я предпочел бы сейчас с ружьем в руках стоять на бруствере самого опасного Четвертого бастиона в Севастополе, только б не вариться в этой ужасной венской кастрюле…

Европейские газеты писали о нем как об очень большом политике, который в пору небывалого унижения своего отечества умеет сохранять достоинство посла великой державы. Россия вела две битвы сразу: одна – в грохоте ядер – шла под Севастополем, другая, велеречивая и каверзная, протекала в конференциях и заседаниях, где Горчаков – в полном одиночестве! – выдерживал натиск нескольких противников…

1854 год заканчивался; французы колонизировали Сенегал; Макс Петенкофер начал борьбу с холерой; папа римский опубликовал энциклику о беспорочном зачатии девы Марии.

* * *

А весною 1855 года перед Кронштадтом появился флот неприятеля. Петербуржцы смотрели на эту блокаду с философским любопытством. Возникла даже мода – устраивать массовые гуляния в Сестрорецке или на Лисьем Носу, откуда хорошо были видны корабли противника. А когда маршал Пелисье получил от Наполеона III титул герцога Малахова, Петербург дружно смеялся. Французы не знали, что знаменитый курган под Севастополем получил свое название от забулдыги Ваньки Малахова, основавшего под сенью кургана дешевый кабак. Так что геральдическое основание для герба нового герцога имело прочную основу – большую бочку с сивухой…

Наполеон III считал войну с Россией войной «платонической», как реванш Франции за 1812 год. Он не желал продлевать вражду с Петербургом, истощая свою казну и обогащая биржи Лондона. Переговоры за спиною Англии он поручил сводному брату – герцогу Шарлю Морни. Через венских банкиров Морни

вошел в тайные сношения с князем Горчаковым.

– Россия, будучи нема, – ответил Горчаков, – не остается глухою. Но мир между нами возможен в том случае, если Франция не потребует от России унизительных уступок…

Осенью русские войска покинули Севастополь, но не было силы, которая заставила бы их уйти из Крыма; тогда в России можно было нарваться на оплеуху, сказав, что Севастополь пал. «Севастополь не пал, – говорили русские, – он лишь оставлен нами». Мира не было, а война заглохла сама по себе. Наполеон III заверил Горчакова, что условия мира не будут отяготительны для русской чести, о чем князь сразу же поспешил сообщить в Петербург – канцлеру Нессельроде.

– Кажется, – сказал он Балабину, – мне удастся вывести Россию из конфликта без ущерба для ее достоинства…

Поздно вечером прибыл курьер из Петербурга, вручил пакет от канцлера. Горчаков сломал хрусткие печати. Едва вчитался в бумаги, как рука сама потянулась к колокольчику.

– Бог мой, – крикнул он вбежавшему Балабину, – все пропало! Нессельроде повелевает прервать отношения с герцогом Морни, а переговоры о мире с Буолем перепоручает своему зятю, саксонскому барону Зеебаху.

– Но почему же с Буолем? При чем тут Зеебах?

– Нессельроде разрушил дело почетного мира. Тайну моих переговоров с Францией он подло разгласил перед Веною…

Предательство было непоправимо для России! Наполеон III, возмущенный поведением петербургского кабинета, сразу же прервал переговоры. А при встрече с канцлером Буолем князь Горчаков заметил на его лице торжествующую усмешку.

– Теперь, – сообщил Буоль, – условия мира будем диктовать мы… Не скрою от вас, любезный коллега, что России предстоит испытать некоторую чесотку

своего самолюбия.

На этот раз условия мира были очень унизительны!

– Я не думаю, чтобы Петербург на них согласился.

– Тогда… война, – злорадно отвечал Буоль.

– Конечно! – сказал Горчаков, нарочито замедленно протирая очки. – С человеком, имеющим двести тысяч годового дохода, я не могу говорить иначе, как только в уважительных тонах. К тому меня обязывают долги и полное отсутствие доходов…

* * *

Вскоре он испытал признаки отравления. Слег в постель, его мучительно рвало, в глазах было темно…

– Мсье Балабин, – сказал он, – я хотел бы сдать русское посольство в Вене именно вам, русскому, и вам позволительно развить свою ненависть к Австрии до невозможных пределов.

– Когда вы, князь, почувствовали себя дурно?

– Сразу после обеда у этого саксонца Зеебаха.

– Вы имеете какие-либо подозрения против Саксонии?

– Против Саксонского королевства – никаких. Но я имею массу подозрений противу Российской империи, ибо за столом у барона Зеебаха я сидел подле его очаровательной жены, дочери нашего канцлера Карла Вильгельмовича Нессельроде!

…Россия пребывала в политической изоляции.

Капризная русская оттепель

Тютчев не расписался – Тютчев разговорился…

Крымская эпопея надломила его – она и выпрямила!

Новый год был встречен нервными стихами:

Черты его ужасно строги,

Кровь на руках и на челе,

Но не одни войны тревоги

Принес он людям на земле.

Федор Иванович полагал, что мир замер на пороге небывалого кризиса, а народу русскому уготована судьба роковая – противостоять всей Европе, которую сокрушит изнутри некто «красный», после чего святая Русь вернется на исконные исторические пути, а мир славянства встанет под русские знамена.

– Но этого еще никто не осознает, – рассуждал он. – Жалкие мухи, прилипшие к потолку корабельной каюты, не могут верно оценивать критические размахи корабельной качки!

Лучшие годы жизни (с трагедиями и надрывами) Тютчев провел в Германии; любя немецкий мир, он понимал его национальные терзания; друг Шеллинга и Гейне, поэт грезил о той уютной Германии, которая возникала из идиллических картин Шпицвега – с их виноградными террасами, с инвалидными командами крепостей, усопших в лопухах и бурьяне, с ночными патрулями, которые, воздев фонари, обходят мистические закоулки средневековых городов, населенных сентиментальными башмачниками и пивоварами, Гретами и Лорелеями, ждущими почтальона с письмом от сказочного рыцаря… Но политика удушала поэзию! Тютчев был политическим трибуном светских салонов. В ярком освещении люстр, под волнующее шуршание женских нарядов, в говоре и смехе юных красавиц поэт становился неотразимо вдохновенен. Будто невзначай, он транжирил перлы острот и афоризмов, а Петербург повторял их, как откровение…

Лев сезона – так прозвали его в столице, хотя этот некрасивый и малоопрятный человек меньше всего походил на жуира и бонвивана.

Вот он выходит из подъезда дома на тихой Коломенской, проведя эту ночь не в семье, где его заждалась жена, а опять у Лели Денисьевой, последней своей любви.

О, как на склоне наших лет

Нежней мы любим и суеверней.

Сияй! Сияй, прощальный свет

Любви последней, зари вечерней…

Поэт! Впрочем, на поэта Тютчев тоже не похож: щупленький, лысенький, поверх пальто накинут немыслимый плед, конец которого небрежно волочится по панели. Не только поэта, но даже камергера двора его величества, каким он был, Тютчев не напоминает. Скорее, пришибленный невзгодами жизни мелкий титулярный советник, корпящий над перепиской казенных бумаг.

Сейчас поэт направлялся в цензуру. Не для того, упаси бог, чтобы с пеной у рта отстаивать свои мысли. Нет, Тютчев сам был цензором. Когда-то советник посольства в Турине и уполномоченный в Мюнхене, он свернул свои паруса в Петербурге, бросив якорь в мутных заводях у Певческого моста, где и числился старшим Цербером, обязанным «тащить и не пущать». А что делать иначе? Как правило, поэт влюблялся в замужних женщин, уже имевших детей, потом рождались дети от него, и, наконец, любимая Леля тоже не бесплодна, – жить как-то надо…

Тютчев горько смеялся сам над собою:

Давно известная всем дура —

Неугомонная цензура —

Кой-как питает нашу плоть —

Благослови ее господь!

Невесело было. Английский флот совершил разбойничье нападение на жителей Камчатки, он обстрелял Соловецкий монастырь, где монахи дали «викторианцам» отпор из пушек времен Стеньки Разина, – а сегодня поэту предстоял неприятный разговор… Канцлер Нессельроде красными чернилами широко и жирно, явно смакуя, вычеркнул из статьи слово «пиратские».

– Помилуйте, – заявил он, – как можно писать о пиратских действиях англичан на море… Лондон может обидеться!

– Но что нам до английских обид, – отвечал Тютчев, – если наше отечество пребывает в состоянии войны с Англией?

– Война здесь ни при чем, а флот ея величества королевы Виктории пиратским быть не может… Кстати, – дополнил Нессельроде, – я крайне недоволен, что вы дозволяете публикации о потерях англичан и французов в Крыму. К чему это злорадство, присущее московским агитаторам – Аксаковым, Самариным и Погодиным? Пусть наши газеты пишут только о русских потерях, а Париж и Лондон не следует огорчать упоминанием об их жертвах… Надеюсь, вы меня поняли?

Тютчев не желал этого понимать, и всё, что несли к нему редакторы газет, он пропускал в печать с неразборчивой подписью: «п. п. Ф. Т.» (что означало: печатать позволяется. Федор Тютчев). Уже не обожаемой Леле Денисьевой, а своей свято любимой жене, мудрой и гордой красавице Эрнестине, поэт откровенно сообщал: «Если бы я не был так нищ, с каким наслаждением я швырнул бы им в лицо содержание, которое они мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые, наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего дикого кретинизма».

Поэту Якову Полонскому он в эти дни сказал:

– У нас уже привыкли лечить зубную боль посредством удара кулаком в челюсть! Я это не раз испытал на себе…

* * *

Сорок лет подряд во главе русской внешней политики стоял горбоносый карлик с кривыми тонкими ножками, обтянутыми панталонами из белого тика, – карлик ростом и пигмей мысли, он обожал тонкую гастрономию, маслянистый блеск золота и благоухание оранжерейных цветов. О немцах он говорил: «Господь бог при сотворении мира, на восьмой день, даже не отдохнув, взялся за создание человека, и первый, кого он вылепил, был немец». О русских же отзывался так: «Правда, средь них встречаются приятные люди, но, когда я вижу умного русского, я всегда думаю: как жаль, что он не родился немцем…» Российский канцлер Карл Вильгельмович Нессельроде обязан своим появлением на свет офицеру Пфальского герцогства от брака с еврейкой Луизой Гонтарь;[2 - Л. Гонтарь вышла замуж, будучи уже беременной от венгерского барона Лебцельтерна, отец которого, австрийский еврей, был лейб-медиком императора Карла VI. Это хорошо замаскированное родство русского канцлера, бывшего еврея со стороны отца и матери, сделало его политически зависимым от венских Ротшильдов, ярых ненавистников России, на что уже давно обратили внимание историки дипломатии.] он родился на испанском корабле у берегов Португалии, а крещен по протестантским обрядам в часовне английского посольства в Лиссабоне… Космополит не только по рождению, но и по убеждениям души и сердца.

– Ах, оставьте, – морщился Нессельроде, когда речь заходила о России и русском народе. – Я не знаю такой страны, и мне безразличен грязный и темный русский народ. Я служу не народу, а лишь короне моего повелителя!

Загнав русскую политику в тупик, канцлер привел Россию к политической блокаде, сделав из страны нечто вроде европейского пугала. Я склонен думать, что Николай I поступил все же рыцарски, когда, не стерпев стыда поражений, приказал лейб-медику Мандту дать ему порцию яда, от которого и скончался на узкой лежанке, накрытый шинелью рядового солдата. Царь понял крах тех идеалов, которым он поклонялся и всю жизнь следовал. Перед смертью он сказал своему сыну: «Прощай, Сашка… я сдаю тебе под команду Россию в дурном порядке!»

Зимой Александр II провел в Зимнем дворце секретное совещание высших сановников империи. Он сообщил им:

– Я имею телеграмму из Вены от князя Горчакова, который советует отвергнуть ультиматум Буоля и снова завязать переговоры лично с императором Франции, дабы нейтрализовать требования Вены о территориальных уступках в

Бессарабии. Наполеон Третий признал, что война обошлась Франции очень дорого, а русский солдат покрыл себя немеркнущей славой. У меня нет оснований подозревать его в неискренности, благо сама же Франция берется умерить неоправданные притязания Лондона.

Начались прения. Все высказывались за мир, ибо боялись полного оскудения казны и арсеналов. В случае отказа от мира следовало ожидать высадки десантов противника на Кавказское побережье; англичане уже запланировали отрыв народов Кавказа от России, чтобы под эгидою турецкого султана создать особое царство Шамиля – Черкесию; существовала и угроза вторжения австрийских войск со стороны Галиции.

Граф Киселев бросил упрек в лицо Нессельроде:

– Спасибо за изоляцию! Россия осталась теперь, как цыган, ночевать в пустом поле. С нами только Пруссия, но и она, под давлением Австрии, может позариться на Прибалтику.

Граф Алексей Орлов (шеф жандармов) сказал:

– Национальная гордость возмущена, в низах народа скапливается громадный взрыв патриотизма… Простонародие, я извещен точно, согласно нести жертвы и далее. Но мир все-таки необходим для сохранения спокойствия в империи.

Престарелый англоман Воронцов тоже стоял за мир:

– Шамиль для нас хуже язвы желудка. Пока Шамиль не побежден нами, мы всегда будем связаны в политике!

Александр II указал Нессельроде:

– Немедленно отзовите Горчакова из Вены…

Горчаков приехал. Он остановился, словно провинциал, в номерах у Демута, совершенно разбитый болезнью. Врачи ограничили его лечение тем, что без передышки промывали ему желудок, и в эти дни его навестил Нессельроде – с угрозой:

– Если вы рассчитываете занять мое место, то предупреждаю, что после этой войны министерство иностранных дел будет аннулировано как ненужное, ибо впредь Россия не сможет вести самостоятельной политики, обязанная лишь покорно выслушивать, что ей укажут кабинеты европейские.

– Бог с вами, – равнодушно отозвался князь.

В салонах столицы светские дамы рассуждали:

– Россия унижена, но так жить нельзя! Нам нужна волшебная палочка, чтобы вернуть империи ее прежнее величие.

– Ах, милая Додо, где найти эту палочку?

– Такою палочкой обладает князь Горчаков…

Горчаков, садясь на горшок, говорил врачам:

– Кажется, из меня выходят дурные последствия политики Священного союза монархов… О-о, господи! Прости и помилуй нас, грешных, царица небесная, заступница наша еси…

Под ним стояло изделие фирмы Альфреда Круппа!

* * *

Полмиллиона солдат и полмиллиарда рублей – такова цена для России Крымской кампании. Черноморский флот лежал на дне, Севастополь дымился руинами; жители выезжали в Николаев, на горьких пепелищах выли покинутые псы да бродили одичалые кошки. Русский человек не признавал себя побежденным, умные люди даже приветствовали поражение царизма, за которым должно последовать оздоровление государства. Московские славянофилы тогда же пустили в оборот модное словечко «оттепель»:

– Господа, начинается политическая оттепель…

Началась она с того, что Александр II (сам курящий) позволил верноподданным курить на улицах и в общественных местах. Демонстративное курение стало признаком либеральных воззрений курящего, а дворянин, рискнувший отпустить себе бороду, считался уже карбонарием, чуть ли не гарибальдийцем. Возникла мода на папиросы – чисто русское изобретение (хотя название взято от испанской пахитосы, в которой табак заворачивался не в бумагу, а в соломку). «Оттепель» безмерно обогатила табачных фабрикантов Миллера и Гунмана, выпускавших три сорта курева: тонкие и длинные – ферезли, толстые и короткие – пажеские, наконец, специально для театралов появились папиросы на две затяжки, называемые – антракт…

В 1856 году Россия провела широкую демобилизацию старой армии – еще николаевской, набранной по рекрутской системе. Старики ветераны получили на руки белые билеты, в коих им наказывалось «бороду брить, а по миру не ходить» (иначе – не побираться). Тысячные толпы людей, вислоусых и беззубых, с нашивками из желтой тесьмы «за беспорочную службу», плелись по дорогам в свои губернии, дабы успокоить кости на родине. Но солдата дома никто не ждал, ибо у него давно не было дома. Взятый на службу черт знает когда (безграмотный и потому не имевший связи с сородичами, тоже безграмотными), он являлся в деревню, где повымерли помнившие его, а те, что сидели теперь за столом, в суровом порядке хлебая щи деревянными ложками, видели в нем лишнего едока. Вот и пошли они, солнцем палимы, по белу свету, а свет велик, и брили они бороды, как велено им от начальства премудрого. Одинокие люди устраивались хожалыми в полицию, будочниками у застав в провинции, в ночные сторожа при купеческих лабазах, нанимались в швейцары, шли в банщики или… просто спивались! Бряцая крестами и медалями, гневно стуча клюками в заплеванные полы трактиров, ветераны требовали дармовой водки, уважения к себе и почитания, – ей-ей, читатель, они того стоили…

А что еще сказать об этом времени?

Лев Толстой говорил: «Кто не жил в 1856 году, тот не знает, что такое жизнь!» Россию сгибало на переломе эпох, старой и новой, и лишь мудрые старцы сумели найти в себе смелость, чтобы разрешить бурно-кипящей младости: «Шагайте через нас» …

* * *

Придворный мир, надев позлащенные мундиры, по утреннему морозцу катил в Зимний дворец присягать самодержцу. Тютчев не поехал для присяги новому императору Александру II:

– Я разуверился, что эти господа способны осознать истину. При случае я готов пожертвовать им часть своего ума…

Поэта вызвали к министру императорского двора.

– Однажды вы уже были лишены звания камергера, когда ради свидания с женщиной самовольно оставили пост посланника в Турине, – сказал поэту граф Адлерберг. – На этот раз вы ведете себя столь же неосмотрительно и даже… вызывающе.

Тютчев присягнул. Презирая себя, сказал Леле:

– Все они в основном мерзавцы, и мне тошно глядеть на них, но беда в том, что тошнота не доводит меня до рвоты.

Он побрел к Демуту, чтобы побеседовать с Горчаковым о судьбах русской политики. С крыш уже капало. Это была весенняя оттепель. Безо всякой политики…

Утром Леля спросила:

– О чем, друг мой, говорили вы с Горчаковым?

– О вселенной – никак не меньше того…

Париж и парижский мир

Вечный город никогда не спит… Еще шумят кофейни, еще фланируют по бульварам гуляки, а уже проснулись зеленщики и огородники, загружающие рынки капустой и артишоками. Стражи отворяют мясные павильоны, где

дежурные таксы с лаем гоняют между прилавками ленивых и жирных крыс. В два часа ночи пробуждаются flaireur (блюдолизы) – инспекторы, которым до рассвета следует обойти рынки и кухни, дабы, полагаясь на свой вкус, опробовать качество продуктов. На винных складах Парижа торговцы уже разбавляют коньяки крепким чаем, а на молочных фермах безбожно льют в молоко речную воду. Публика разъезжается из театров, когда в дешевых харчевнях уже вскипают супы для пролетариев, готовых взяться за труд. На авансцену парижской кулинарии выходят «устроители бульонов» – почти фокусники, рты у которых лучше пульверизаторов. Набрав в рот рыбьего жира, они распрыскивают его в мельчайшую маслянистую пыль, и она, осаждаясь поверх супов, украшает их поверхность жирными точками. Первые лучи солнца едва коснулись крыш Парижа, а из ворот Бесетра уже выехала телега с преступником; на площади Рокет стоит гильотина, возле нее – корыто со свежими пшеничными отрубями. Голова, прежде чем упадет в мягкие отруби, рубится возле четвертого позвонка. Быстрота операции поразительна: не успеешь сказать «ах!», как подмастерья уже заколачивают крышку гроба гвоздями…

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Население Австрии состояло из множества народов и народностей, средь которых предпочтение отдавалось немцам (а позже и венграм). В канун гитлеровского аншлюса 1938 года в КПА была развернута широкая дискуссия по этому вопросу, в ходе которой коммунисты вынесли резолюцию, что «австрийский народ не является частью германской нации». (Здесь и далее прим. автора.)

2

Л. Гонтарь вышла замуж, будучи уже беременной от венгерского барона Лебцельтерна, отец которого, австрийский еврей, был лейб-медиком императора Карла VI. Это хорошо замаскированное родство русского канцлера, бывшего еврея со стороны отца и матери, сделало его политически зависимым от венских Ротшильдов, ярых ненавистников России, на что уже давно обратили внимание историки дипломатии.

Купить: https://tellnovel.com/pikul-_valentin/bitva-zheleznyh-kanclerov

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити